

ПРОЗА

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ "Завтра меня здесь не будет"	61
Сергей ЧЕТВЕРТКОВ Идущий против ветра	70
Олег ГУБАРЬ Модель беспорядка	81
Александр ГРИНБЛАТТ Матильда	86
Наталья СИМИСИНОВА В лодке	97
Татьяна ОРБАТОВА Пациенты планеты Земля	102
МОСКВА—ОДЕССА Ольга ИЛЬНИЦКАЯ Шкаф Невклида, или Косячок для бабушки	105
Евгений НОВИЦКИЙ Леги Нуриева	109

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

"Завтра меня здесь не будет..."

Из семейного альбома

У меня есть любимый город. Он называется Фамагуста. Я полюбил его прежде, чем в нем побывал. Впервые я услышал о Фамагусте в Лондоне. Мне рассказал о ней киприот-водопроводчик Янис, мой сосед. Фамагуста живет по законам трагедии. В начале XVI века командующий венецианской военно-морской базой на Кипре черный генерал Отелло в городской цитадели Кастелло задушил жену-генеральшу. В том же веке Фамагусту душили турки, а задушив, содрали с нее кожу. В 1974 году афинский черный полковник Попадопулос схватил за глотку весь Кипр, но удушение завершили турецкие солдаты. Около 20 000 греков бежали в греческий сектор. Все готические и реалистические истории из жизни привидений в английских замках — всего лишь детские страшилки в сравнении с нынешней Фамагустой и ее районом-призраком Варошей. Осенью 2002 года я всматривался в этот город-фантом с борта туристского кораблика, вооружившись биноклем. Там не было ни души: ни стариков в тени сикомора, ни мальчишек, гоняющих мяч, ни девочек, прыгающих на скакалке. Единственным признаком жизни были колючие ограждения на пляже и голубые каски миротворцев ООН.

Может быть, кипрская Фамагуста волнует меня, потому что в моей жизни была своя собственная Фамагуста. Она называлась "Киев". В 1978 году я покинул мой город и после годами издали всматривался, вслушивался, внохивался в него. Когда-то по горячим следам я описал день рокового отлета в Вену. Теперь попробую по остывшим.

В таможне Борисполя нас обыскивали часа два. Искали криминал: письма из лагерей, самиздатские рукописи. Меня и жену с десятимесячным сыном развели в разные помещения и раздели догола. Пленки тоже развернули. Психологи утверждают, что процедура раздевания по ходу обыска — форма изнасилования, и что впоследствии это может сказаться на сексуальных отношениях супругов. Криминала не нашли, а он был. В нашем семейном альбоме бок о бок с фотографиями родных и друзей лежали снимки украинских политзаключенных. Я собирался передать эти фотографии в "Amnesty International". Я и поныне верю, что упоминание в эфире имен заключенных и публикация их фотографий каким-то

мистическим образом помогали этим людям выжить. Их имена становились заклинанием, шаманским камланием. А то, что шаманы обитали на коротких волнах и звучали как небожители, лишь свидетельствовало об их иератической подлинности. Я до сих пор помню любительскую фотографию Ивана и Евгена. Сняли их осенью. Иван — в берете, Евгений — в плаще. Такие серые китайские плащи были в моде в середине шестидесятых. Точно такой плащ носил мой старший брат, а после донашивал я. У Николая Заболоцкого есть стихи:

В широких шляпах, длинных пиджаках,
с тетрадами своих стихотворений.

Это о друзьях-поэтах, исчезнувших в тридцатые годы. В том же семейном альбоме были фотографии вопиюще несовместимые, но досмотрщики не проявили ни социальной, ни национальной чуткости. Еврейские родичи моей жены рядом с семьей Левка казались перепуганным насмерть. Одна бабушка Циличка из Василькова держалась достойно. Она много чего повидала: погромов, переворотов, войн. В начале прошлого века ей делал предложение друг отца, писатель Шолом-Алейхем, но его руку отвергли, поскольку жених был на три десятка лет старше невесты. Во время Второй мировой войны Циличка служила поварихой в генеральской столовой в Чкалове. Там-то ее заметил маршал Жуков. Маршал почему-то очень хотел, чтобы Циличка вступила в партию, обещал дать рекомендацию, но и от этого предложения она отбоярилась. В альбоме Циличка бесстрашно взяла под свое крыло Левка со всеми его черниговскими родичами: в год нашего отъезда Левко получил очередные десять лет лагерей.

После досмотра чемоданы и узлы я перетаскивал сам: у жены на руках был сын. Я взмок. Рубаха покрылась пятнами. Мне хотелось пить. На втором этаже в зале ожидания стояли два автомата с газированной водой, но в карманах у меня не осталось ни одной советской копейки. Мы заняли места в самом хвосте самолета. Перед нами сидели два японца. Они тихо улыбались. Когда самолет взлетел, стюардессы начали развозить завтрак. С нами обращались, как с иностранцами. Даже вино подали. В эти минуты я понял, что ничего прекрасней свободы в самом прямом, поверхностном, внешнем смысле — нет, и что рассуждения римского вольноотпущенника Эпиктета о внутренней свободе — всего лишь игра ума, игра слов. Мне захотелось потрогать свободу рукой. Я вытащил из кармана на спинке кресла пакетик из шершавой серой бумаги — пакетик для рвоты, достал ручку и начал по памяти записывать стихи о друге, сочиненные незадолго до отлета.

За полночь ты выйдешь из подъезда и сразу увидишь
два сгустка ночи, в каждом из которых
в тусклых лучах зеленоватой подсветки
молчат трое мужчин, не считая водителя.
Ты оттолкнешься ногами от асфальтового дна города,
и черные сгустки, субмарины ночи, плавно поплывут за тобой,
не включая фар. Твое сердце медленно оторвется от тела
и заскользит в противоположную от него сторону,
прикидываясь морским ежом или жемчужницей.
И чем зловещей будет этот ночной заплыв,
тем прекрасней будут воспоминания, но все равно
не застегивай плаща, переночуй у нас хотя бы еще одну ночь.

Через полчаса самолет задрожал как осиновый лист: мы попали в грозу. Вода хлестала щеки. Повалил мокрый снег. Объявили по-английски: "Господа! В связи с метеословиями наш самолет вынужден приземлиться в минском аэропорту. Экипаж приносит вам свои извинения". Спереди загорелось FASTEN BELTS. "Пристегни ремень", — сказал я жене, чтоб не молчать. Она ответила: "Я волнуюсь". Сын спал у нее на коленях. Град сыпал со всех сторон. Одним локтем я прикрывал голову и лицо, другим — лицо сына. Колеса ударились о бетонированную полосу аэродрома, хрустнуло шасси, и самолет, тужась, прополз на пузе еще метров сто, сметая мелкие служебные строения и легкие фигурки с флажками в шахматную клетку. В здании аэропорта нам предложили пройти в "комнату матери и ребенка". Жене почему-то не хотелось. Она расплакалась. Я толкнул ее. Получилось грубо, и она заплакала в голос. Нас разлучили с другими пассажирами. Я чувствовал спиной улыбки японцев. "Главное — не нервничать, — уговаривал я себя, — все образуется. И не такое пережили. В конце концов, у меня в кармане не краснокожие паспорта, а иностранные визы. Мы — иностранцы. И баста!" В комнате, куда нас ввели, спиной к двери у окна стоял мужчина в штатском. Я почему-то брякнул: "Good day!". Он, не взглянув, сел к столу и набрал номер. Звонил долго. Говорил по-русски, так что я ничего не мог понять, кроме имен моих киевских следователей-подполковников "Вилен Павлович", "Валерий Николаевич" и слова "Бобруйск". Потом он вышел из комнаты. Мы долго ждали. В голове было пусто. За нами пришли к вечеру. Велели выйти. Мы шли — я в непросохшей рубахе, жена с зареванным лицом, со спящим сыном на руках. Я думал: хорошо хоть багаж не надо тащить. Значит, в Бобруйск. Они уже там. Вилен Павлович пока что смылся с какой-нибудь бабой, а Валерий Николаевич

решает шахматные задачи. Мат в три (четыре) хода. Черные (белые) начинают и выигрывают. Он постукивает кончиком карандаша по нижним, желтым от никотина зубам, по-доброму щурится, нашу машину трясет на ухабах, мы сбились в кузове в одно влажное солоноватое месиво. В Бобруйск мы приехали ночью. В Бобруйске нас расстреляли.

В мае 2003 года я снова собрался на Кипр. Накануне отлета позвонил Янису. В газетах писали, что турецкая администрация Кипра пошла на какие-то уступки, и я хотел узнать у Яниса подробности. Он попросил разрешения зайти. Янис принес нарисованный от руки план Вароши и виллы на улице Адриану, где он когда-то жил. Даже ключ от двери принес.

— Может, у тебя получится. В Фамагусте сними на прокат машину и попробуй заехать в Варошу. У тебя ведь британский паспорт?

— У тебя тоже.

— Ты на мою рожу посмотри. Они таких хитрожопых за километр видят (по-английски он сказал "dickhead").

— Но я не вожу машину.

— Найди какого-нибудь англичанина. Вдвоем дешевле.

— Но у тебя дома одни крысы... И замок заржавел.

— Да, крысы. В гостиной в столе, в левом ящике, лежит наш семейный альбом. Больше ничего мне не надо.

Я прорвался в Фамагусту на плечах новой либеральной политики кипро-турецкой администрации. С начала мая до города можно было добраться не только в обход через Никосию, но и напрямик через КПП неподалеку от пародийно курортной Айя-Напы. Либерализм диктовала Анкара: Турция хотела хотя бы одной ногой — кипро-турецкой ногой — вступить в Европейский Союз. Теперь не только иностранцы, но и греки-киприоты имеют право на несколько часов приехать в Фамагусту. Так что если вам попадетс в городе плачущий мужчина или женщина в возрасте, можете не сомневаться: это греки-изгнанники, приехавшие подышать воздухом родины. 20 000 турок, осевших в Фамагусте, надышали что-то вроде жизни. В тени сикомора сидят турецкие старики, по улицам бегают школьники и школьницы с белыми папками. Воздух казематов в цитадели, как и пятьсот лет назад — удушающий. Но зато с крепостной стены открывается вид на море, на полусонные пакгаузы, сухогрузы, сандалы (в переводе с турецкого — лодки). Пульс бьется, но без энтузиазма. К когда-то греческому району Вароша можно дойти через майдан Кемалья. Дойти — и упереться в бесконечную проволочную ограду. На ней висит пла-

кат, на котором изображен турецкий солдат с винтовкой, и предупреждение: NO PHOTO. За оградой начинается детский рай. Он похож на обложку книги Конан Дойла "Затерянный мир". Заживо гниющие виллы, церковка с понурыми крестами стоят по пояс в чертополохе, бурьяне, кактусгах, рододендронах. Вся эта флора болеет хроническим гигантизмом в острой форме и упивается своей болезнью. В зарослях, в подвалах, на чердаках можно было бы бесконечно играть в казаки-разбойники, прятаться в шалашах от родителей, назначать первые свидания. Сквозь оконный проем запущенной виллы я увидел на стене коридора вырванный с мясом счетчик. На его глазке сохранились цифры лета 1974 года. Счет за электричество хозяева не успели оплатить: греки бежали семьями, даже не успев снять с плиты дымящуюся еду. На стене рядом со счетчиком безвестный городской сталкер начертал углем свое имя: ХАСАН. Я прошел с полкилометра вдоль ограды и оказался возле турецкой школы. Детей видно не было, но здание гудело их голосами. На солнце блестели школьные окна с видом на урок новейшей истории.

Я поймал такси и поехал в гостиницу "Palm Beach". Водителя звали Хасан. Он оказался родом из городка Ларнака. В 1974 году ему с семьей пришлось уйти в турецкий сектор.

— Вы остановились в Ларнаке? — спросил он.

— Нет, в Айя-Напе.

— А в Ларнаке будете?

— Да, проездом.

Мне показалось, что он сейчас попросит меня сделать снимки его дома. Хасан вздохнул и сказал:

— Я был недавно в Ларнаке. Зашел в свой дом. Сделал снимки. Там сейчас живут греки. Хорошая семья.

— На каком языке говорили?

— На греческом. Я немного знаю.

— Выпили?

— Да, пиво.

Мы подъехали к гостинице. Через вестибюль вышли на террасу. Внизу тянулся песчаный пляж, из тех, что называют "золотыми". Я попросил Хасана сфотографировать меня на фоне города-призрака. Он начался в метрах двухстах. Я на минуту сел в кресло. Позади простиралась четырехкилометровая прибрежная полоса, застроенная в 60-70-х годах отелями, ресторанами, банками, над- и подземными гаражами. Издали все казалось нормальным. Так мог бы выглядеть город, пораженный нейтронной

бомбой. Я спустился на пляж и дошел до упора: колючей — вроде тетради в клеточку — ограды. У меня за спиной плескались и загорали туристы. Их не смущала ни проволока, ни призраки. На самой границе, но уже по ту — мертвую — сторону, торчала проржавевшая детская горка. Рядом с ней стояли кривые качели с красно-бурым налетом.

Прости, Янис, но добраться до твоего дома на улице Адриану можно было бы только в кино. Представляю, как здорово сыграл бы эту роль Хэррисон Форд: рваная (слегка) рубашка, капли пота на лбу (в меру), ссадина на щеке (грим).

Накануне отлета в Лондон я заехал в Никосию, уютную столицу Кипра. По фешенебельной торговой улице Lidras дошел до греческой погранзаставы. За ней начинался турецкий сектор. Приграничный турецкий квартал был необитаемым: турки боятся здесь жить. Застава смахивала на сцену в кукольном театре. На деревянных подмостках стоял автоматчик. От вражеских пуль его оберегали тюфяки. Выглядело это по-домашнему мило. Над автоматчиком шелестело дерево-кентавр. Его корни и ствол были турецкой чинарой, а крона — греческим платаном. На карнизе заставы висел лозунг

**НЕТ ПОБЕДЫ БЕЗ ЖЕРТВ
ЗА СВОБОДУ ПЛАТЯТ КРОВЬЮ**

— девиз кипрских патриотов-террористов середины пятидесятых. И рядом — для непонятливых: ПОСЛЕДНЯЯ РАЗДЕЛЕННАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ. Мне захотелось воды, и я зашел в ближайший бар "BERLIN". Почему-то сразу прошел в уборную. Там меня стошнило. Стало легче. После снова стошнило. Я посмотрел в унитаз. В нем не было ничего, кроме крови и свободы. Да, свободы и крови.

Не может быть

Завтра меня здесь не будет. Я съезжаю в другой отель. По соседству. Вид из окна будет тот же: Мертвое море. Здесь как нигде понимаешь разницу между живым и неживым. Живое дышит. У него вздымается грудь. Мертвое море — бездыханно. Иногда по нему пробегает рябь. Но и она какая-то павильонная. Из всех мертвых морей это — самое здоровое. По крайней мере, оно лечит. В сказках мертвая вода тоже лечебная. Ею окропляют плоть и мясо, чтобы они срастались.

Из окна я вижу, как малыш, из новеньких, с разбегу бросается в воду

и разбивается вдребезги. Рев и вопли родителей до моего этажа не доносятся. Надо было маме и папе раньше думать. На берегу стоят огромные щиты с инструкциями на иврите, по-английски, по-русски, по-арабски:

**ИЗБЕГАЙТЕ НЫРЯНИЯ И ПРЫЖКОВ
НЕ ОКУНАЙТЕ ГОЛОВУ В ВОДУ
НЕ ПЕЙТЕ**

**ЕСЛИ ПРОГЛОТИЛИ ВОДУ, БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ОБРАТИТЕСЬ
К СПАСАТЕЛЮ**

В здешней воде самая высокая в мире концентрация соли, хлора, брома, сульфата, кальция и прочих минералов. Запах серы добивает даже до моего окна.

Иосиф Флавий называл Мертвое море Асфальтовым. Слово "асфальт" — греческое. Означает — горная смола. В России асфальт когда-то называли жидовской, иудейской смолой. Обижаться или радоваться не стоит: это всего лишь название. Воздух над морем тоже целительный. Лично я уверен, что только благодаря этому воздуху в развалинах Кумрана сохранились древние Свитки Мертвого моря: комментарии к Книге Аввакума, фрагменты из Третьей книги Моисеевой и пр. Должно быть, аскеты-есееи хранили их здесь нарочно, зная, что у этого моря Свиткам никакая зараза не страшна. Да и сами есееи, возможно, были не только монашеским орденом, но и колонией псориатиков. Звери тоже льнут к этому месту. В оазисе Эйн-Геди мне доводилось гладить диких козеров, газелей, леопардов. Глаже шкур нигде не сыщешь. Даже верблюды здесь гладенькие. Чтобы потрогать их, я как-то позволил местному бедуину взгромоздить меня между двумя горбами. Свою рабочую скотину бедуин называл одновременно по-русски и по-английски: veyu-блюд. Сидеть на этом "блюде" было одно удовольствие: из шерсти здешних veyu-блюдов делают самые мягкие одеяла.

От Содома, что находился на юге Мертвого моря, осталась лишь гостиница "Лот". Господь не пожалел на Содом ни серы, ни огня. Серы хватает и по сей день. В моей нынешней гостинице можно заказать серные ванны. Принимая их, я волей-неволей чувствую себя грешником, чуть ли не содомитом. Смущенно вспоминаю, как поглаживал газель. Но другие варятся в сере самозабвенно. "Других" здесь хоть пруд пруди. Это люди без национальности. Нет, паспорта и родины у них есть, и самые разные. Но здесь они — псориатики. Некоторые раскрашены вроде географических карт: на бедре Мадагаскар, на шее Ямайка. Дюжина постояльцев словно покрыта асбестом. Это — чешуйчатые. Новеньким — сразу вид-

но — тесно в собственной коже: они чешутся, скребутся. В результате покрываются "кровяной росой" (*rosee sanglante*). На их локти, колени, волосы лучше не глядеть. Да и ногти не краше. Но через неделю-другую иных не узнать: море, деготь, зеленое мыло, грязь, ртутная мазь, пирогалловая кислота, хризаробин творят чудеса.

Многих курортников, прямо скажу — большинство, я знаю либо лично, либо в лицо. Езжу я сюда уже лет пятнадцать, так что мир псориатиков мне хорошо знаком. Они носятся с собой как с писаными торбами. Считают себя "отмеченными", чуть ли не аристократами духа. Болезнь их и впрямь загадочна, и по части чешуек им в тонкости не откажешь. Об их мистическом мироощущении одна швейцарка даже роман написала ("Псори, мон амур").

Случаются здесь и чужаки. Однажды я обратил внимание на мужчину в бассейне. Я скользнул по нему взглядом и поскользнулся. Мужчина осторожно хлопал по воде когтеобразной рукой. Слизистая оболочка в моей носоглотке скукожилась. Слюна загустела. Даже мой голос, заговори я вслух, изменился. По коже поползли юркие мурашки. Я не мог отвести от мужчины глаз. Над его бровями и на тыльной стороне руки темнели аспидно-серые пятна. Кое-где пятна переходили в узлы с плотной эластической консистенцией, величиной с лесной орех. За ушами прятались полипообразные наросты. Лицо было одутловатым, местами бугристым.

Морщины казались преувеличенно резкими. Я нарочно громко поздравился с ним: "Hi!". Он набрал воздуха, присвистнул и сдавленно прорычал в ответ "Hi!". При этом веки его вывернулись, рот перекосялся, а нос надломился. Даже нижняя губа отвисла, обнажив десна. Честно говоря, я испугался. Мне было страшно дышать с ним одним воздухом, стоять в одной воде. Тем временем мужчина запустил свои когти в воду, выудил оттуда резиновую крысу и игриво швырнул ее мне. Расталкивая плотную воду, я бросился к сходням и с рвением юнги вскарабкался наверх. Что здесь делал этот прокаженный? Почему он залез в воду без черной с белыми знаками робы, без шляпы с широкой белой тесьмой, без трещотки Лазаря, которой прокаженный должен отпугивать здоровых? Я накинул халат и кинулся к администратору гостиницы. О том, как прокаженного вылавливали сетями, рассказывать не буду. Скажу лишь, что он проявил нечеловеческую сноровку, и это отчасти подтвердило мой диагноз (*Elephantiasis Graecorum*).

Но это мелкий эпизод. У меня здесь свои дела. Я ищу Розу. Мы познакомились с ней лет сорок назад, в Черновцах. Стоило нам чуть подрасти,

и я влюбился в нее. Но родители увезли ее в Израиль. Тогда это казалось диким. Кто мог знать, что Советский Союз сгинет, как Содом и Гоморра, а Израиль прибавит в весе? Но это все — геополитическая чушь. Дело в том, что когда я обнял Розу в первый раз, я испытал такое острое, такое пронзительное чувство, что невольно прошептал: "Не может быть!". После я так и называл Розу: "Не Может Быть". К несчастью, я оказался прав: т а к о е я больше ни с кем никогда не испытывал. К Мертвому морю я езжу вот почему. На левой розиной груди, на ее нижней границе была "кровяная роса". От Розы я впервые услышал слово "псориаз". Ничего, кроме этой "росы", у меня от Розы не осталось: ни адреса, ни общих знакомых. Я ищу ее в гостиницах Мертвого моря уже пятнадцать лет. А где еще искать? Слава Богу, псориаз неизлечим. Мучительней всего думать о том, что я уже встретил Розу, но не узнал. Я пишу об этом, потому что надежд у меня все меньше и меньше. Мне уже за пятьдесят. У меня к вам просьба. Мольба. Если вы знаете или где-нибудь встречали немолодую женщину по имени Роза с "кровяной росой" (*rosee sanglante*) на нижней границе левой груди, то напишите мне в любую гостиницу Мертвого моря. Меня здесь каждая газель знает. Запомнили? Роза, или Не Может Быть.

